



„МОСКВА МОЯ!..“

Еще за город шли уличные бои, а в этом здании начал размещаться медсанбат.

Быть как можно ближе к передовой, к сражающимся — железное правило военных врачей, людей медицинской профессии. Но сербы никак не могли привыкнуть к этому сокращенному слову и называли медсанбат «воина больница».

Горожане несли сюда посуду, кровати, стулья, подушки, одеяла. Сербские женщины с санитарками и медсестрами мыли полы, расставляли кровати, а видя, что им не успеть, клали матрацы прямо на пол, чтобы положить раненых. Запах иода и чего-то еще острого вытеснял все остальное.

Бой отдалялся к окраине, дальше — за окраину. Трескотня глохла, только орудийные выстрелы и разрывы снарядов доносились отчетливо. Нет-нет задребезжит оконное стекло.

Неприметно складывался госпитальный быт. Раненых осматривали, перевязывали, несли в операционную. Комнаты звались палатами, кровати — койками. Когда приносили горячий обед, запахи варева, стук ложек превращали палаты в столовые.

Завязывались солдатские знакомства. Находились земляки — разговорам не виделось конца. Да и у остальных они никак не исчерпывались. «Дюже за брюхо боялся, перед наступлением сутки не ел, а вдруг, сам понимаешь, — рассудительно, как о хорошо знакомом и будничном толкует немолодой солдат в одном белье. — Не дай никому помирать с пробитыми

кишками, насмотрелись, а проси не проси — солдат своего не пристрелит, мучайся нестерпимо, но помирай сам». — «Тебя пулей достало, меня ж осколком жигануло вона куда, и нарощно не придумаешь, и показать срамота».

У соседней койки: «...Стоит, горемычный, о трех ногах, а четвертая к брюху поджатая. Колодец — вот, и есть за что цеплять ведро — деревянный журавель скрипит на ветру, да не дано животному, тому коню, самостоятельно воды достать. Так-то оно», — с огорчением, явно сочувствуя коню, басыт перевязанная голова на подушке, остальное укрыто линиялым грубошерстным одеялом. Но голова косит глаза на койку соседа, хочет во что бы то ни стало видеть его лицо, выражение этого лица. — «Мы воюем — это понятно, вот нас с тобой ранило — страдай, а за что коню страдать?..»

Поодаль смешки, голоса молодые: «Попал я с первым ранением в бакинский госпиталь на Баилове. Район такой. Сколько-то времени прошло, узнаем: до госпиталя здесь был роддом. А ты твердишь — мужики туда не попадают».

Письмо кому доставят, кому посылочку — всей палате радость, будто не только адресату — всем прислано. С койки на койку письмо перейдет, посылочка разделится без обноса.

Как-то пошло по палатам — после ужина концерт будет. Ну, будет, так будет, час указан, а место — большая палата. Так нет, не могут наши раненые дожждаться концерта. Один за костыли и в поход по палатам — и того спросит и этого: «Слыхал?» Другой примется толковать о концертах, какие ему выпали

на веку, и получалось так, что все те концерты были неописуемо хороши. И замолкнет, а головой обритой покачивает — «Ну и хороши!» — и улыбается при этом всем худым, с запавшими глазами, лицом. Кому же встать нельзя — головой водит, глаз не спускает с костыльного говоруна, что-то свое припоминает, тоже приятное, и отмолчаться ему нет мочи. У кого часы — совсем без надобности суют руку под подушку, вытаскивают часы — глядят, глядят на циферблат, на стрелки, засомневаются и к уху часы прикладывают, может, остановились?

Волноваться, однако, было не к чему. Кто из раненых или санитарок, медсестер первым заметил музыкантов — неизвестно, только враз заговорили, загомонились в палатах: «Идут!.. Идут!..» Слышно, как здравствуются у входа и в коридоре, по-сербски отвечают на приветствия.

Тут все, кому нужно подняться, ноги опускают с койки. Одни накидывают халаты на плечи, другие одеяло, а кто остался в бязевых нательных рубашках и кальсонах. Все глазами на двери уставились, и те, чьи головы забинтованные, одни щелки.

Из соседних палат народ подходит.

«Джа-а-азз!» — пошло и пошло, как увидели в черных футлярах скрипки и аккордеон.

Среди музыкантов одна девушка без инструмента, певица видать. Сербские девушки, за малым исключением, смуглянки, а эта и лицом бела, и прическа белокурая. «Здрavo! Добар дан!» — говорит. Музыканты, улыбаясь, раскланиваются на все стороны. Волос у каждого длинный, черный, на глаза спадает, откидывать его назад приходится, ладонью приглаживать. Это были скрипачи два брата Поца и Жика Боголюбович, Марко Савич, аккордеонист Петша Боголюбович и певица Деса Войтич.

На той стороне, где глухая безоконная стена, койки подвинули вплотную — открылась концертная площадка. С дюжину стульев сюда

натасили, хотя столько их не понадобилось.

Музыканты извлекают из футляров инструменты. Впалощекий Марко Савич черкнул смычком по струнам — короткий сочный звук облетел палату, проник в соседние. Не объявляя исполняемый номер, маленький оркестр заиграл. Впервые услышанные сербские национальные мелодии захватили аудиторию. Раненые не отводили глаз от музыкантов, с детским восторгом следили за быстрыми движениями рук и скольжением, переборами пальцев — длинных и ловких. Одобрительно качали головами, с улыбкой переглядывались и снова, будто боясь что-то пропустить, всматривались в музыкантов.

И в том, как аплодировали солдаты — увлеченно и бурно, было что-то от мальчишек. Это они с таким непосредственным восторгом и с таким азартом бьют в ладоши, то откидываются всем корпусом, то сгибаются напополам, крича и смеясь при этом.

Сдержанно улыбаясь, Марко Савич раскланивался перед аудиторией.

Оставив стул, на котором сидела, вперед шагнула белокурая солистка. Положила ладонь в ладонь, перебрала тонкими пальцами с розовыми кончиками. Прямо смотря перед собой, тонкобровая, с черными ресницами, она выглядела строгой, почти суровой.

Еще раз ее руки непроизвольно пожали одна другую, или ей было холодно, и она этим движением вызывала тепло.

Замерли музыканты.

Замерла аудитория. Не слышно кашля, чьих-то шагов, стука или скрипа.

Деса Войтич окинула быстрым взглядом палату, переполненную ранеными, и улыбнулась, и эта улыбка озарила всех, вызвала ответный свет человеческих глаз.

Инструменты в руках музыкантов ожили. Солистка запела. Слова, за редким исключением, были незнакомы, но и эти слова, а главное радость и печаль, мелодия песни, глубокий лиризм трогали солдатские сердца. Сколько глаз

смотрело на Десу! Как менялось их выражение! Они то добрели, и лица смягчались, то суровели, и лица становились резче, И поощряемая этим общим вниманием. Деса пела о прекрасной своей стране, где орлы на грозных утесах и бесстрашные партизаны; пела о чистой юношеской любви к милой девушке, и слова «мио», «любак» понятны были всем, имели свой единственный смысл — милый, миленький, милашка.

Благодарные слушатели долго не отпускали певицу, дружными рукоплесканиями требовали новых песен.

К музыкантам подошел майор Вейшнейбер и начал негромко напевать «Москву майскую». Но знакомые слова и знакомая, так любимая мелодия слышаны были всеми. Раненые оживились, вытягивают шеи, а кто и приподнялся, чтобы видеть лучше.

Майор повторил первый куплет:

Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся Советская страна.

Музыканты, не сговариваясь, берутся за инструменты. Вот уже Марко Савич провел раз-другой смычком по струнам, подыгрывает майору. Братья Поца и Жика не отстают, а за ними и третий брат Петша. Боголюбович растянул меха аккордеона, перебирает словно на ощупь перламутровые клавиши.

Теперь уже и зачинщик-майор пел в какой раз и в полный голос. Его поддержали из рядов, сначала немногие. Но с каждой минутой голосов прибавлялось, и хор набирал силу. К мужским тенорам и басам прибавились тонкие женские. Даже те раненые, кто и в гражданской своей жизни едва ли когда пел, не могли оставаться безмолвными и подхватывали припев:

Страна моя, Москва моя.
Ты — самая любимая!

И это звучало, как признание в лучших чувствах, звучало, как клятва на верность отчизне.

У всех этих людей, кого свела под эту сербскую крышу фронтовая судьба, была одна-единственная далеко отсюда отчизна, одна Москва. С этой отчизной связана вся их жизнь, за нее отдавали они свою кровь, свое последнее дыхание. И эти люди со всей душевной силой, в полный голос пели:

Страна моя, Москва моя,
Ты — самая любимая!

Глядя восхищенными глазами на поющий зал, встали, кто сидел из музыкантов, словно выше стала белокурая солистка — и так они вместе с ранеными исполнили русский номер своего концерта во фронтовом госпитале, в нашем медсанбате.

КАМИН

В горно-лесистой местности трудно рассчитывать на быстрое продвижение, враг не пренебрегал естественными выгодами обороны. Бои принимали затяжной характер.

Остановились мы в одном селе. В долине щетинилась еще не ушедшая под снег блеклая овсяная стерня, кустились сухие бодылки кукурузы, Улицы изламывались сквозь голый предзимний лес. Земля усыпана мокрым листом, тускло холодели лужи. Серые туманы напоздали на вершины, закрывали дерево за деревом, опускались в долины.

Каждого из нас, солдат и офицеров, тянуло в дома, где сухо и тепло. На войне, как нигде еще, ценились эти блага жизни. Окопы были лишены их, блиндажи не всегда имелись под рукой, к тому же они не отапливались, обогревались солдатским дыханием. Любая шинель и за матрац, и за одеяло, а шапка-ушанка за подушку. Набьется постояльцев к ночи, улягутся под чью-либо команду «на бочок!», чтобы потес-

ниться до предела, дальше некуда. Также под команду неунывающего балагура перевернутся через час, через два спящие на другой бок, иначе в тесноте нельзя — начнется толкотня, пойдут недоразумения, недолго и переругаться сейчас можно расквартироваться в домах, воспользоваться сербским гостеприимством. Уступая мне право первым переступить порог дома, старый хозяин обеими руками показал на дверь.

В темном коридоре из печного ярко освещенного зева по всем стенам, полу и потолку металась светотени, вели причудливый хоровод. Глаза сразу же привлекло к себе живое пляшущее пламя, так бы и смотрел, смотрел на его всплески и метанья, ощущал лицом и всем телом тепло, слушал бы треск и гуденье буйного огня.

Черные женские фигуры, сидящие на низких скамеечках, а то и прямо на полу у раскрытой дверцы, зашевелились, повернулись к посетителю и торопливо поднялись. Только одна, должно хозяйка, прямо руками начала хватать выпавшие из печи горящие ветви и бросать их назад.

«Добрый вечер, товарищи!» — сказал я, прикладывая заодно правую руку к шапке, и прошел со старым сербом в комнату.

Навсегда мне запомнились пляшущее пламя и освещенные им женщины в черных длинных, наглухо застегнутых, без малейших вырезов у шеи платьях, со строго повязанными, как у монахинь, черными платками на головах.

И после, когда топили из коридора печь, сюда сходились женщины. Они помогали хозяйке, а больше она сама управлялась со своими обязанностями, и делала это с удовольствием и достоинством, как хозяйка огня, хозяйка дома. Родственницы и соседки, сидя на скамеечках, вели круговую беседу, обменивались новостями, кто при этом вязал носки или варежки, кто занимался шитьем.

Однажды я пришел удрученный — только что узнал в политотделе о гибели почтальона Гусейна Бабаева. Он

развозил письма, доставленные из дома; в дни выпуска красноармейской газеты «За Советскую Родину» ждал, когда печатник, старшина Гамбаров, еще раз надавит педаль ножной передачи и снимет последний оттиск остро пахнущего типографской краской и керосином бумажного листа. Когда выпуск газеты задерживался, Бабаев волновался и сердился, выговаривал Гамбарову, не взирая на его старшинское звание, заходил ко мне — нельзя ли ускорить печатанье, солдаты ждут!

С первых боев дивизии на Кавказе и до безвестного горного селения в Югославии чаще пешком, а после на одноконной бедарке он добирался до передовой, нагонял подразделения на марше, олицетворяя собой долгожданные новости из далекого дома и последние известия с фронта и тыла. Вместительная кожаная сумка, потертая по углам, была безотлучна с почтальоном. Его видели без винтовки, но без этой всем знакомой сумки едва ли кто его встречал, а встретив, уже не мог оставаться безучастным и еще издали загадывал — быть ли ему сегодня с письмом? И торопясь к почтальону, старался по выражению его лица и по каким-то еще приметам, неуловимым признакам опознать, что ждет его, радость или огорчение? И зная об этом состоянии своих подопечных, Бабаев издали улыбался счастливцу, похлопывал по сумке и на ходу извлекал заветный треугольник, приподнимал над головой. И то, что казенно именуется вручением письма адресату, у Гусейна Бабаева приобретало возвышенный, глубоко волнующий смысл, носило праздничный характер. «Поздравляю, дорогой!» — и с этими словами протягивал правую руку для пожатия, а левой подносил треугольник с оттисками штемпелей. «Прямо из дома, видишь, как хорошо!» — «Спасибо тебе, Гусейн!» Кто тут же развернет письмо, а кто отойдет в сторону, хочет побыть наедине. Бабаев же, не гася улыбки, обращается уже к другому. «Он точно, как ты, не верил, что будет письмо, а теперь ты сам видишь,

да? Будет и тебе, немножко-немножко ждать надо. Понимаешь, ждать?» Ну, что особенного в этих словах, но изуверившиеся люди находили в них что-то обнадеживающее, а, может, на это влиял сам факт вручения письма, только что происшедший перед их глазами? Может, доверительность самой беседы, спокойный той фронтового почтальона, человеческая доброта и участие, действующие лучше всякого бальзама?

И вот Бабаев убит. Храпящая, взмыленная лошадь влетела в селенье с еще живым и не потерявшим сознание почтальоном. «Стреляли из засады... в спину»,— успел прошептать он, а через два часа умер в медсанбате.

У Бабаева остались жена и дети. Лучшими минутами для него были такие, когда он говорил о своих детях — лицо его добрело, освещалось мягкой улыбкой глаз и губ, каждой морщинкой, а большие грубые руки словно гладили головенку.

Таким вот и припомнился мне наш почтальон.

У огня в темном коридоре я увидел женщин. Горе тем тяжелее, чем оно притаеннее, невысказаннее, поэтому и потянуло меня сказать этим сербкам о Гусейне Бабаеве, награжденном недавно медалью «За боевые заслуги», каким он был добросовестным, всегда помнящим о бойцах, что до последнего мгновения жизни ждут весточки из дома, от жены, детей, матери. Каким он был добрым, хорошим отцом.

Так, не сняв шинели и шапки, глядя то на пламя, то на безмолвных женщин, я говорил о солдате-почтальоне из далекого Азербайджана. Нисколько не боясь — поймут ли русскую речь, пользуясь лишь изредка знакомыми сербскими словами — войник, другарь, смрт, швабы (немцы), куча (дом), пут (дорога), младост (юность) и другими.

Но боль и горечь людская от живого живому сердцу передается через языковые барьеры, да и очень близки славянские корни слов. У сербок опускались веки, слезы скатывались по щекам на черные платки, на черные,

наглухо застегнутые платья. Скорбно никли головы, а тонкие руки с длинными пальцами молитвенно складывались на груди. Горе незримо соединило сербок с женщиной-азербайджанкой и ее малыми детьми. И у них, у сербок, нет семьи, где бы от рук швабов не пал муж, или брат, или отец, или сын, а то и муж, и брат, отец и сын. Горе под каждой крышей, не затухает боль от смертных потерь самых близких, самых дорогих.

Потрясенные одним острым чувством, слитые воедино, стояли у меркнувшего пламени с тонкой паутиной пепла на углях. Тяжелые вздохи и глухие рыдания прерывала тишину.

Пожилая женщина во всем черном вдруг выпрямилась, воздела карающе правую руку и произнесла как приговор с гневной силой: «Смрт швабам!»

Будто все пламя очага, перешедшее к ней, метнулось из ее черных глаз, отразилось в глазах всех женщин: «Смрт швабам! Смрт оккупантам!»

Тогда мне стали ясны истоки сопротивления, всенародной священной войны югославов против иноземных поработителей. Слившись, как пламя, с бушующей силой Великой Отечественной войны народов Советского Союза против немецко-фашистских захватчиков, югославы вносили свою долю в общее дело победы.

В коридоре я услышал слово «камин», его произнесли в явной связи с очагом, но для проверки я обратился к хозяину за разъяснениями. Тот утвердительно качнул головой и, протянув руку к очагу, повторил: «Камин». Женщины сдержанно заулыбались, видя мой интерес и нескрываемую радость: «Камин... камин»,— повторяли они.

Мне и самому не сразу раскрылось то, что связано с этим словом. Просто было совсем неожиданно услышать в глухом горном селении, в бедном жилище серба-крестьянина: камин! И в то же время не могло быть незамеченным полное сходство сербского камина с печью в саманной хате ставропольского крестьянина-

колхозника или украинца. Также топились она из холодного коридора или сеней хмызом-хворостом, бурьяном, а то и соломой. Для переноски этого топлива пользовались крупночестым веревочным приспособлением, с боковыми панлками для удобства. Такое же я увидел здесь. У полыхающего очага напрочь были сойтись, чтобы провести вечерний час и обо всем покалякать, мои земляки. Припомнилось из истории, читанной мною в детстве, что и далекие предки наши славяне любили сходиться семьями, всем родом у домашнего очага.

Здесь, у домашнего очага, у камина сербского крестьянина, я рассказал про гибель Гусейна Бабаева.

ШУЛЬГИН В СРЕМСКИ КАРЛОВИЦЫ

Гитлеровцы не доверяли горам и лесам, самой этой земле — она горела под их ногами.

Под ударами наших войск и югославских частей, атакуемый отовсюду партизанами, противник откатывался от рубежа к рубежу.

В какой раз преследуем врага. В артиллерийском и стрелковых полках на марше наши военные журналисты. В редакционной машине-типографии остальные. Теперь все надежды на эту машину, на то, что она все выдюжит — и перегрузку, и стремительный пробег с перегретым радиатором, и проколы резины. За воздухом следит не один шофер и тот, кто рядом с ним в кабине — в прорези окна нет-нет да выглянет солдатская голова, а прислушиваются по привычке все — кто же не отличит жалящий свист «мессеров», прерывистый, будто с отдышкой, моторный дых «юнкерсов», злой вой пикировщиков!

Ночью въезжаем в Сремски Карловцы с его церквами. Сербский Иерусалим. Местопребывание сербского патриарха. Смотрим вправо и влево, и вперед, на что шофер не может от руля да от дороги оторваться, но и он зыркает по сторонам.

«А какой он — патриарх? — то ли мне, то ли сам себе задает вопрос. — Занятно, ей-бо, глянуть. Чего только не довелось видеть, кого только не встречал, и не перескажешь, а патриарх не попадался!»

Или очень нашему шоферу припичило увидеть того патриарха, как всякую диковинку, или просто он хитрил сам с собой и рассуждал вслух, чтобы обмануть проклятую дремоту, не дать себя внезапному сну, только еще квартала два он говорил о том же»

«Хотя бы издалека глянуть. Какой он, в годах или как? Скорее всего в годах, такая у него должность стариковская: патриарх. И что за одежда на нем? Верно ли в золоте, в серебре, в бархате или еще из какого немагазинного материала? Откуда он берет этот материал? Из старых запасов? Попы припасливы. А может, монахи или монашки по кельям ткнут, усердствуют? Может, заграничный? Вот задача!..»

Сзади в кабину постучали — условный сигнал остановки. Подъехав поближе к двухэтажному дому, шофер затормозил. Здесь решили переночевать.

Младший лейтенант Аронс спрыгнул с машины, закинул руки за шею и, высоко подняв грудь, вобрал побольше воздуха, прошелся вокруг машины. После долгого сиденья размяться — одно удовольствие.

Привычно осмотрелся. Из темноты выступал двухэтажный дом. Поднялся по лестнице. Постоял, прислушался: тишина, будто дом нежилой. Аронс постучал в дверь и сразу из-за нее раздался мужской голос: «Пожалуйста, войдите!»

Приглашение на чистом русском языке, без того произношения и тех особенностей, которые выдают иностранца, в какой-то степени усвоившего чужой для него язык, — не могло не обратить на себя внимание. Но раздумывать не оказалось времени — открыв дверь, Аронс переступил порог.

Навстречу посетителю поднялся из-за стола с бумагами пожилой мужчина с начисто бритой головой. Время

наложило неизгладимые следы на лицо человека, но серые глаза, несмотря на морщины вокруг, сохранили еще блеск, свойственный обычно юности. Сейчас эти глаза, приглядчивые, внимательно-спокойные, слегка расширились. Но это заняло мгновение. Лицо у незнакомца вновь приняло привычное выражение сдержанности и учтивости. Не выходя из-за стола, хозяин квартиры повернулся к другой двери и позвал: «Маша! Посмотри кто к нам пришел!»

В комнату быстро вошла женщина, при виде которой ночной визитер склонен был признать в ней дочь хозяина, так молодо выглядела невысокая брюнетка с живыми поблескивающими глазами, с улыбчивыми, хорошо очерченными губами, без морщин и иных следов увядания. С ее приходом и сама комната стала иной — потеряла прежний деловой кабинетный вид, преобразилась в гостиную.

«Мария Дмитриевна, моя жена», — представил ее хозяин.

«Где довелось встретиться, в каком доме принимать русских!» — воскликнула женщина, сделав полукруглый жест руками. Подойдя к офицеру, она протянула руку ладонью вниз, как это делают дамы, кто привык, чтобы мужчина приложился губами к руке.

Спохватившись, что запямятовал назвать себя, старый хозяин (как его прозвал Аронс) извинился и представился:

«Шульгин Василий Витальевич!»

Что-что, но только не это готов был услышать мой товарищ.

Шульгин!

Какой Шульгин?.. Неужели тот, монархист, один из вдохновителей российского белого движения? Член Государственной думы... Богач, барин...

Аронс знал, что у меня в личной библиотеке имелись две книги мемуаров Шульгина «Дни» и «1920-й год», выпущенные в Москве государственным издательством за полтора десятка лет до нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. О содержании книг он

слышал от меня.

Аронс сказал об этом Шульгину и он тут же подтвердил — да, это его воспоминания, он знал об их выпуске в России.

Вот так встреча, вот так знакомство! Идеолог и активный участник белого движения, эмигрант, так и не сложивший оружия перед своей бывшей родиной — с одной стороны, а с другой — коммунист, советский офицер, представитель той вооруженной силы, что, преследуя с боями иноземного врага, выполняла свою историческую миссию армии-освободительницы.

Шульгин и его жена, как люди, много лет проводившие на чужбине, лишенные счастья родины, обрадовались человеку, кто пришел оттуда — из страшно далекой для них Советской России. Непосредственной, более открыто держала себя Мария Дмитриевна, ей хотелось высказаться, вспомнить. Шульгин поддакивал, добавлял, а больше слушал. Сказывалось умение держать себя при любых обстоятельствах, манера светского человека, где откровенность и искренность не поощрялись, где сдержанность и замкнутость прикрывали истинные чувства и мысли.

Шульгин предложил гостю чай. Он сказал буквально так: «Чай будете кушать?»

Запомнилось это «кушать» Аронсу!

«Прошу извинить, что кроме чая, ничего не могу предложить. Оскудел до крайности, и куска хлеба в доме нет».

Помолчали. Но привычка занимать гостя разговором оказалась сильнее всего.

Узнав, что офицер пишет стихи, печатает их в красноармейских газетах, Шульгин попросил прочитать их, чем смутил автора. Ведь он привык читать свои стихи советским солдатам, для них и только для них он писал стихи, а тут перед ним — Шульгин. Но и отказаться неудобно, вот и решил мой товарищ прочитать стихи, посвященные матери.

Шульгин выслушал внимательно,

однако ни одного слова не проронил, не высказал ни одобрения, ни осуждения. Отмолчался и все. Автор воспринял это как доказательство, что его стихи не понравились.

Беседа сама по себе перешла на другое, на прошлое и по тому, как Шульгин и его жена оживились, заговорили увлеченно, можно было представить себе, как дорого им далекое дооктябрьское прошлое. Да в том не было ничего удивительного. В те годы Шульгин являлся одним из столпов романовской монархии, богатым владельцем имений и сахарных заводов, известным оратором Государственной думы, чьи верноподданические речи получали одобрение самодержца российского Николая II и его семьи, и ближайшего окружения.

«Василий Витальевич боролся с вами (она, жена Шульгина, так и сказала «с вами», видя в своем собеседнике представителя противоположного лагеря) идейно, идеологически, как теоретик, а я — с винтовкой».

Глаза ее блеснули, она припомнила себя с винтовкой в руках, стрельбу на вскидку, нечеловеческий азарт, ярость и внезапный холод страха, вытесняющий мгновенно все остальное.

«С винтовкой», — повторила еще.

Шульгин слушал не перебивая. Беседа переходила с одного на другое, без какой-либо заданности. Шульгин с глубокой убежденностью в том, что он нисколько не преувеличивает, а говорит то, что есть на самом деле, оценивал всепроникающую способность красной разведки. «ГПУ все знает, в курсе всего, чем живет русская эмиграция, что она намерена предпринять. Знает все и обо мне», — и кивком бритой головы подтвердил собственные слова.

Об эмиграции говорил без всякого подъема, и не только не восхвалял, а с легко чувствуемым разочарованием, иногда с иронией, с болью.

Много эмигрантов осело и здесь, в Сремски Карловцы. Поблизости от дома Шульгина, через улицу всего, долгие годы проживал последний претендент на

роль главы единой неделимой России барон Врангель.

Шульгин через окно молча указал на соседний дом, где проживал и умер в полном забвении обанкротившийся правитель Крыма.

Кому-кому, как не Шульгину знать истинное положение белой эмиграции, этой оторвавшейся от своего народа, чуждой ему среды всяких бывших — дворян, помещиков, буржуа, чиновников, погрязших в мелочной мышинной грызне и склоке, якобы что-то представляющих партий и групп, неких течений. В одном лишь случае он высказался о белой эмиграции положительно, не обо всей, а он именно выделил и подчеркнул — какая-то часть, наиболее сохранившая себя, как русских, с патриотическим святым духом и убеждениями, — эта часть эмиграции с тревогой и болью восприняла внезапное нападение гитлеровской Германии на Россию. Перелом в ходе войны и переход советских армий в наступление, их удары по врагу и изгнание врага с территории страны они восприняли с патриотическим воодушевлением. Молодое поколение, выросшее на чужбине, выказало наибольший подъем.

Шульгин отметил это с удовольствием, так как видел в проявлении подобных настроений здоровое начало молодежи, пребывающей за пределами страны своих предков.

Его собеседник сказал напрямик, что ограничиваться одними лишь эмоциями, подъемом духа, патриотическим воодушевлением у себя в четырех стенах квартиры — чрезвычайно мало, по сути — ничто. Нужны действия и главным образом действия, направленные на нанесение ущерба иноземному захватчику. Весь советский народ, и старики, и женщины, и дети, не жалея самой жизни, поднялись на борьбу с поработителями. Это есть священная народная война — Отечественная война.

Шульгин — искусный полемист и оратор — не находил опоры для оправданий, каких-либо веских возражений.

Он поведал своему ночному собеседнику о том, как еще до войны нелегально проник в Советскую Россию. Предложение о такой поездке исходило от бывшего крупного судовладельца Чернова. Он же предложил Шульгину написать об этом книгу, но ему не хотелось ехать в Россию, безнадежно рисковать. Все изменилось после беседы со знаменитой парижской гадалкой, которая по наитию объявила ему, что его единственный сын жив и находится в психиатрической лечебнице в Виннице. Тогда Шульгин согласился с предложением Чернова. Нелегально побывал он в трех городах — в Москве, Ленинграде и Киеве. Результатом такой поездки явилась книга «Три столицы», изданная в Берлине тиражом три тысячи экземпляров.

Шульгин разволновался, припомнив как искал больного сына в домах для душевнобольных, какой совсем непохожей на прежнюю предстала перед ним русская земля и ее люди, с кем он встречался в те дни нелегального странствия по городам, переездов из конца в конец по железным дорогам. Как наперекор его, казалось бы, нерушимым убеждениям в правоте белого движения, которому отдана его жизнь, в нем что-то подтачивалось, теряло твердость, готово было рухнуть.

Не раз при этом Шульгин возвращался к «красной разведке». По его мнению, сам его замысел тайного перехода советской границы не остался строго засекреченным, конспиративным делом. «ГПУ знало об этом, было в курсе», — повторялась им фраза. Он не просто предполагает, а глубоко уверен, что на всем его пути, начиная с перехода границы и во все дни нелегального пребывания в России, он находился под неослабным наблюдением «агентов ГПУ», что в любое время его могли разоблачить и подвергнуть аресту. Он считал — это произойдет скорее всего при обратном переходе границы, когда он попытается вернуться туда, откуда пришел. Но этого не сделали и не по причине искусной конспирации его,

Шульгина, а просто так решили где-то без него и позволили ему уйти из России.

Аронсу приятно было слышать столь неожиданное признание и в такой необычной форме о наших органах государственной безопасности. Но эта повторяемость, настойчивое напоминание и смешило, вызывало улыбку. Пуганая ворона куста боится. У страха глаза велики.

Ночь в Сремски Карловцз давно передвинулась на вторую половину, но о сне не помышляли ни Шульгин с супругой, ни их гость.

Разговор перешел к литературным занятиям Шульгина. Он продолжал писать мемуары, ему, правда, не хватало многих материалов и документов, они находятся в России. Он назвал публичную библиотеку имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петрограде, так и сказал — «в Петрограде», где в архивах хранятся нужные ему источники.

«Я еще пороюсь в архивах, обязательно поработаю там, — сказал как о деле бесспорном и давно решенном, только откладываемом на некоторое время. — Без них мне невозможно закончить свою рукопись».

Вот ведь какая у Шульгина уверенность, будто к государственным архивам у нас в стране прямой для него доступ! Велик грех этого деятеля белого движения перед страной, где он родился, велики его проступки перед трудовым народом, избравшим для себя путь Октябрьской революции, путь Советской власти.

Оказывается, писала и жена Шульгина. Но если для него литературные занятия представляли особый, можно сказать, профессиональный интерес, то для нее это было всего-навсего увлечение, занятие сугубо личное, для души, одна из возможностей уйти от суровой, подчас безжалостной действительности. По ее словам, сказанным не без женского кокетства, она любит писать только про любовь.

Когда жена Шульгина вышла из комнаты, Аронс поинтересовался источником существования этой четы.

Словно тень пробежала по лицу Шульгина, его глаза притухли, блеклые веки безвольно опустились, а губы произнесли всего одно слово: «Ломбард!»

Все самое ценное из дома пошло в ломбард, заложено и перезаложено, И этому настал конец. А занимать — неудобно, стыдно, да и у кого займешь? И чем жить?..

Шульгин приподнял плечи и развел руками — чем? Литературные занятия ничего не приносят вот уже сколько лет.

«Осталась еще меховая шубка, мой давний подарок Маше в день ее именин» Его, этот подарок, я не могу, понимаете — не могу отнести в ломбард,— говорить это Шульгину было трудно, он понизил голос, чтобы жена не услышала.— Она же настаивает, к сожалению, заложить меховую шубку».

Некоторое время молчали, О чем думал Шульгин? Набряклые веки были опущены, лоб отяжелел, темные тени легли на лицо.

«Вы, пожалуйста, не говорите жене о нашем разговоре», — клонясь к собеседнику, попросил Шульгин.

За дверью слышались быстрые легкие шаги. Беседа пошла о другом. К тому же, в руке у Аронса оказалась берлинская книжка Шульгина «Три столицы», и так захотелось нежданному визитеру иметь эту книжку в качестве сувенира, своего рода вещественного доказательства о знакомстве с Шульгиным, что все, кажется, средства убеждения были использованы.

Увы, автор книги только отрицательно качал головой и, наконец, как последний довод, предложил прочитать то, что написано им на титульном листе.

«Дорогой подруге, любимой жене М. Д.» — значилось там.

У Шульгина оставался единственный экземпляр книги, да и тот, как он сказал, принадлежал теперь не ему.

Рассвет уже смотрелся в окна, делал ненужным ламповый свет в комнате. С улицы донесся требовательный сигнал машины.

Младший лейтенант заторопился, взялся за шинель. Поблагодарив за встречу и ночную беседу, он начал спускаться по лестнице.

Мария Дмитриевна провожала его до машины. Шульгин выглянул из окна.

Так встретились в одном из домов югославского города Сремски Карловцы советский офицер и Шульгин со своей супругой. Встретились и разминулись навсегда.

Промчится, отбушует громами-молниями, тяжелым ливнем с градом буреломная гроза. Отгремит мутно-яростными потоками, И там, где она пронеслась, останутся лишь рытвины, глинистые, песчаные наносы, всякий мусор, а наступит ведро, солнечь — поднимется из-под ног пыль, бессильная и никому ненужная. Не держит ее коренная порода, утеряна связь, — то лежит она прахом, то развеивается ветром.